

Лапшин

В конце декабря 1936 года Лапшину исполнилось ровно сорок лет. Патрикеевна испекла пирог с капустой и настояла водки на вишневых косточках, Васька Окошкин купил в подарок Лапшину металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке, и сам Лапшин принес от бывшего Елисеева икры, копченого угря и бутылку шампанского. Из гостей были — сосед по квартире, врач Ашкенази, с которым Лапшин часто на досуге играл в шахматы, потом приятель Васьки Окошкина, про которого Васька сказал: «Некто Тamarin», и, наконец, товарищ детства Лапшина, агроном Хохряков. Собрались часов в девять вечера и, поставив стулья у топящейся печки, неторопливо разговаривали о будущей войне.

— Ихний генеральный штаб как думает, — говорил Лапшин, грея у огня свои большие, сильные руки и поглядывая снизу на Ашкенази, — ихний генеральный штаб думает вот как: в 1606 году польская армия без всякого сопротивления дошла до Москвы. Правда, и драпанула вместе с Владиславом, но все-таки до Москвы дошла. Второй раз Москву взял Наполеон, — ему фронт обнажили, он и взял. Так вот, что обнажили — ихний генштаб не думает, а что Наполеон взял — думает...

Лапшин прищурился и засмеялся.

— Тут-то и конец пришел великой армии, — продолжал он, поворачивая ладони тыльной стороной

к огню, — стратегия была наша, а не ихняя. Об этом им надо крепко подумать, прежде чем кидаться. Верно?

— Верно, — сказал некто Тамаркин. — Кроме того, наш воздушный флот тоже, извините-подвиньтесь...

— Сильный? — спросил Ашкенази.

— Слава богу, — усмехнулся Тамаркин. — Пальца в рот не клади!

И так как все молчали, то Тамаркин вдруг соврал что-то чрезвычайно неправдоподобное насчет какой-то прыгающе-летающей машины.

— Вся голубая, — сказал он, — чудовищно! Действительно, техника на грани фантастики.

— Ох и врун! — сказал Васька. — Ты, Тамаркин, ешь пирог с грибами и держи язык за зубами! Раз ты электротехник, то и рассказывай насчет там электричества...

— Я люблю авиацию, — сказал Тамаркин, — и не учи меня!

Он очень покраснел и молчал, пока не выпил две рюмки настойки, а потом наклонился к Ашкенази и рассказал ему историю перелета Линдберга. Лапшин разговаривал с Хохряковым. Они вспоминали Волгу и детство и делали это с той настойчивостью, которая появляется у людей, когда они знают, что, если воспоминания окончатся, говорить будет не о чем. И действительно, вспомнив все, они замолчали.

— Раскидала нас жизнь, — сказал наконец Лапшин. — Как твой город-то называется?

— Рыльск.

— Вот, Рыльск, видишь? А мне сорок годков стукнуло...

Лапшин закрыл глаза и покачал головой. Тамаркин, Ашкенази и Окошкин, сидя рядом на кровати, негромко пели:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

— Красивый романс, — похвалил Хохряков, — цыганский, что ли?

Они выпили еще по рюмке настойки, и Хохряков сказал:

— А я, Ваня, беспартийный.

— Исключили?

— Почему исключили? — испугался Хохряков. — Ну просто я беспартийный. Как говорится, чем был, тем и остался.

— А почему?

— Байбак я, — сказал Хохряков, — и женат на поповской дочке. Начнут спрашивать, почему да отчего...

— Ну, это глупости! — сказал Лапшин. — При чем тут поповская дочка?

— А при том, — ответил Хохряков, — притом, что действительно притом...

Он наморщил лоб, и Лапшин вдруг заметил, как он постарел; заметил, что усы у него седоваты и глаза старые, выцветшие; заметил, что у него одышка.

— Эх, Ваня, — сказал Хохряков, — Ваня ты, Ваня, завидую я тебе, что ты в городе живешь! Культурно у тебя, театры, балеты... Я тоже люблю.

И запел жиденьким голоском:

Тот кумир — телец золотой...

Сконфузился и испуганно взглянул на Лапшина.

— Знаешь, Ваня, — сказал он, — моя жена — хорошая женщина. Поедем ко мне, поживешь, отдохнешь. Помидоры у меня, дыня есть, вывожу помаленьку... А? Поедем?

— Да некогда, брат! — сказал Лапшин, не зная, что ответить.

И он пристально поглядел на Хохрякова и подумал о том, что они теперь разные и ненужные друг другу люди.

Тамаркин предложил сыграть в подкидного. Все сели вокруг стола, и Ашкенази сказал, зевая:

— Пора спать, черт дер!

Дураком оставался Окошкин, и Тамаркин каждый раз говорил ему:

— В любви, Вася, повезет! Ты не унывай!

После карт еще поговорили о войне и разошлись рано, в двенадцатом часу. Лапшин был не в духе и, проведив гостей, сказал Ваське Окошкину, что его Тамаркин — чепуховый человек.

— Ваш Хохряков хороший! — сказал Васька. — Таких жаб в жизни не видал!.. Вообще, отпраздновали...

— Ладно, надоело! — снимая сапог, сказал Лапшин. — Все жабы, только мы с тобой чуждые. Давай спать.

Они легли и долго еще читали: Васька — журнал, а Лапшин — большую книгу, которую трудно было держать лежа.

— Интересно? — спросил у него Васька.

— Ничего, — ответил Лапшин, — мне исторические работы всегда читать интересно.

2

Один журналист, приятель Лапшина, которого Лапшин любил за то, что они, собираясь, варили пельмени или пели в два голоса песни, — говорил про себя, что он живет грязно, но интересно, а Лапшин чисто, но неинтересно.

Лапшин жил, действительно, и чисто, и неинтересно. У него была большая комната с нишей и с огромными, цельного стекла, окнами, всегда зияющими без занавесей и штор, с необходимой и унылой желтенькой древтрестовской мебелью, с начищенным паркетом и с люстрой, плохо подвешенной и оттого постоянно позванивающей хрустальными висюльками. В комнате всегда пахло табаком и сапогами, и, как Лапшин ни бился вместе с Патрикеевной, он не мог вывести этот запах холостяцкой жизни.

Кроме Васьки Окошкина, жившего на хлебах у Лапшина, в комнате, в нише, жила еще Патрикеевна — неизвестно откуда взявшаяся старуха, хромая (у нее была деревянная нога, и, когда Васька с ней ссорился, он говорил ей, что порубит ее ногу на дрова), очень злая и очень вкусно стряпавшая. Эта Патрикеевна несла какую-то малопонятную нагрузку в группоме домработниц, читала брошюрки о трудовом праве и часто на кухне говорила, что пойдет за чем-то к товарищу Калинину и что там-то все и выяснится. Иногда она допекала Лапшина уймой вопросов, ни на один из которых он не мог ответить, как ни старался.

Он боялся ее, когда она при нем убирала комнату, или подавала ему одному без Васьки обед, или шумно и гневно молилась в своей нише. И все, кто приходил к нему, боялись ее, кроме только Васьки, которого она боялась и который утверждал, что знает, будто Патрикеевна во время голода на Волге съела своего мужа и родителей.

— Ты людоедка, — говорил он, — и я тебя в Соловки упеку. У меня имеется на тебя дело, и я этого так не оставляю. И что это за имя такое «Патрикеевна»? Я удивляюсь. И за колдовство я тебя упеку, за то, что ты ведьма...

Она была странно моложава лицом для своего возраста, стриглась и носила в волосах красную гребенку. Лапшин знал, что Патрикеевна немилосердно его обворовывает, но стеснялся ей это сказать и только иногда, густо краснея, говорил гневным басом:

— Этого не может быть, чтобы в компот кило сахара! Нет у меня больше денег, я их не сам делаю.

И ложился в сапогах на кровать лицом к стене.

Васька Окошкин возник в жизни Лапшина неожиданно, в 1929 году. Он был прислан райкомом комсомола в милицию, и Лапшин взял его к себе в бригаду помощником уполномоченного. На второй неделе следственной работы Васька, еще не получивший формы, очень бледный, в черной старенькой косовороточке и в сапогах бутылками, перепачканный чернильным карандашом, вошел к Лапшину в кабинет и сказал лающим голосом:

— Товарищ начальник! Я у вас от работы отказываюсь. Вы невинных людей сажаете. Это ужасно, то, что здесь делается.

Лапшин начал вдруг покорно улыбаться и с этой улыбкой встал из-за стола.

— Застенок здесь? — спросил он.

— Да, — сказал Окошкин, — это ужасно!

— Кого вы допрашиваете? — спросил Лапшин.

— По обвинению в вооруженном налете Чалова Ивана Федоровича, — скороговоркой сказал Окошкин. — Но он в налете участия не принимал, он душевнобольной. А мне приказывают...

— Пойдем! — сказал Лапшин.

Они вошли в комнату Окошкина. Чалов в шапке сидел за столом и, мелко нарывая бумагу грязными пальцами, ел кусочки один за другим.

— Хорошо, — при этом говорил он, — люблю, хорошо...

В глазах у него было отвращение, и кадык, как и все горло, содрогался от рвотных судорог.

— Встать! — сказал Лапшин.

Чалов встал.

— Узнаёшь? — спросил Лапшин.

— Хорошо, — падающим голосом пробормотал Чалов, — люблю, хорошо...

Он подумал и прибавил:

— Семьдесят один.

Некоторое время Лапшин молча глядел на Чалова. Тот было еще протянул руку к бумаге, чтобы пожевать, но под влиянием взгляда Лапшина сжал пальцы в кулак.

— Был ты хороший вор, — сказал Лапшин, — и никогда не филонил. Взяли тебя — значит, и отвечай за дело. По мелкой лавочке идешь, Моня. Стыдно!

— Семьдесят один, — сказал Моня, — тридцать два, сорок.

— Ну и дурак! — сказал ему Лапшин. — Как был дурак, так и остался дураком.

Моня снял с головы шапку, бросил ее на пол, наступил на нее ногой и сказал одесским говорком:

— Начальничек, это таки да, Моня. Это не Чалов. Хорошему человеку завсегда объясню.

И он косо взглянул на Окошкина.

Моню увели в камеру, а Лапшин с Окошкиным просидели в кабинете часа полтора. Лапшин сидел на подоконнике, сосал папироску и говорил:

— Повел я этих офицеров. Ничего, идут. Довел до места. И спрашиваю, как в книжках читал: дескать, у кого имеется последнее желание? И тогда один господин, высокенький такой мужчина, усатый, мне заявляет: «Делайте ваше дело, господин пролетарий, потому что когда наши вас поставят, то, поверьте, не спрсят, какое у вас желание...» О, брат, как!..

Они вышли из управления вместе, и Окошкин проводил Лапшина до самого дома.

— А то хочешь, пойдём ко мне? — сказал Лапшин. — Будем боржом пить...

Один раз в своей жизни он был в Боржоме, и с тех пор у него осталась любовь к этому месту. Темные бутылки с водой, пахнувшей йодом, напоминали ему душные вечера в парке, прогулки в горы, любезного и обходительного врача, книги, которые он там прочитал...

Окошкин попил с ним боржому, поел огурцов с помидорами, потом сказал:

— Я у тебя переночую, товарищ Лапшин. Мне сейчас уже некуда идти.

— Как некуда? — спросил Лапшин.

— А у меня комнаты нету, — сказал Окошкин, — я у товарищей ночую. У меня сестренка разродилась, и мама к ней приехала, так что мне спать совершенно негде.

Он махнул рукой.

— Ну, ночуй! — сказал Лапшин. — Если так, то уж ночуй!

Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил ноты позадушевные. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.

— Это да! — сказал Лапшин удивленно.

Заснули они под утро, очень довольные друг другом, а утром, вместе напившись чаю с рогульками, пешочком, по холодку, пошли в управление. Васька молчал, чем-то подавленный, вероятно вспоминая вчерашнюю свою истерику, а к Лапшину пристала уличная сучка, и он посвистывал ей и разговаривал с ней как с человеком.

Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремянной улице — поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как не шла вода, и какая стерва хозяйка, и как брали жуликов, и как все отлично получилось.

— Здорово работали! — говорил Васька, и его круглое лицо, покрытое загаром и мелкими капельками пота, все светилось от возбуждения. — Знаешь, товарищ Лапшин, это большое дело врага брать, очень растешь на этом и мужаешь... И переживал я сильно!

Он вытаращил глаза. Это должно было изобразить степень его переживаний.

— Вот как я переживал! — воскликнул Васька. — Я весь дрожал...

— Ну ладно, иди! — сказал Лапшин. — Мне работать надо.

И, оставшись один в кабинете, попивая чай и покуривая над грудой спешных и важных бумаг, он вдруг задумался и с силой и ясностью вспомнил первые дни своей работы в Чрезвычайной комиссии, а главное — себя самого, свои тогдашние мысли и чувства, мокрый пайковый хлеб, зеленую махорку и бесконечные допросы.

Несколько раз Васька Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то спросил:

— Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?

— Поживи немного, — сказал ему Лапшин. — Только гулянок у меня не устраивай, не люблю.

— Боже сохрани! — сказал Васька.

У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел сшить себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал,

что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, заграничную зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так, он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабели; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка сэкономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и, когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил «отвяжись!» и ложился на кровать лицом к стене.

Мечты оставались мечтами. Васька получал не много, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальные растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.

— На, товарищ Лапшин, — говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек. — Это тебе!

— А чего это?

— Такие штучки, — говорил Васька, — для освежения во рту.

— Да у меня во рту и так свежо, — говорил Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку. — Что тебе в башку взбрело?

За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то

чайное полотенце с петухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины. Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему нравился тот шумный беспорядок, который Васька удивительно быстро создавал вокруг себя. Мучили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и, так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:

— Васеньш?

Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.

— В чем дело? — кричал он, раздражаясь. — Кого вам надо?

Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.

— Какой вам номер нужен? — мучился Лапшин.

Женщина пугалась, вешала трубку, а Васька говорил:

— Постоянно телефонная станция путает номер. Экое безобразие...

Если же голос в трубку объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик — на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он мучительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что он кричал:

— Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время обнюхиваться...

— А я виноват? — огрызался Васька, закрывая ладонью трубку. — Чего вы орете?

Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину, бесконечно лживым и блудливым голосом:

— Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга, Катька Осокина, не знаете?

— Не знаю, — мрачно говорил Лапшин.

И они шли в управление — Лапшин впереди, а Васька сзади, и не разговаривали друг с другом. Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом «смирно» и докладывал, и говорил уже не «товарищ Лапшин», а «товарищ начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное, с легкостью, без пота, бестолковой беготни, без многословия и проволочек, — одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Васьки, и он говорил ему что-либо примиряющее, но строгое, например:

— Побрился бы ты, товарищ Окошкин! Эдак не годится.

Или:

— Тут-то у тебя ладно, а вот почту ты не очень читаешь...

Или еще:

— Прошу заняться комнатой для ожидающих! Там черт знает что творится. Посажу под арест, тогда поздно будет.

На что Васька неизменно отвечал:

— Слушаюсь. Можно идти?

— Идите! — говорил Лапшин и строго глядел в спину Окошкину, шедшему к двери.

Он был способным работником и любил дело, но ему еще очень не хватало выдержки и упорства. И Лапшин нарочно придерживал его, не давая ему уполномоченного, хотя Окошкин почти самостоя-

тельно вел дела. И относился Лапшин к Окошкину куда строже, чем к другим работникам своей бригады, и жучил его чаще и обиднее, чем других, и решительно ничего не прощал ему. Но чем дальше, тем больше Окошкин привязывался к Лапшину, и хоть давно пора было съехать ему от Лапшина, но он этого не делал и даже перестал говорить о том, что подаст рапорт и получит свою комнату...

В 1932 году Окошкина принимали в партию. Перед тем как дать ему рекомендацию, Лапшин долго пил любимый свой боржом и говорил с Васькой о пустяках. Потом, уставившись в него голубыми, яркими глазами, спросил, как спрашивал на допросе:

— Это все хорошо. А что у тебя там с бабами происходит?

Окошкин долго глядел в пустой стакан от боржома, бессмысленно его поворачивая, потом сказал тем блудливым голосом, который Лапшин до глубины души ненавидел:

— Если уж и происходит, то не с бабами, а с женщинами.

— Васька! — угрожающе сказал Лапшин.

— Да ну чего, Васька, Васька! — уже искренне заговорил Окошкин. — Все вы мне Васька да Васька! Ну, ей-богу, я не виноват, что они ко мне лезут. Васюта, да Васеныш, да Васюрочка! Побыли бы вы на моем месте! Вы не верите, ну до того разжалобят, спасения нету! И так мне и так...

— А ты женись, — наставительно сказал Лапшин. — Будь человеком.

Он вылил в свой стакан остатки боржома и унылым голосом добавил:

— Не гляди на меня, дурака, женись, детей заводи. Назовешь как-нибудь по-лошадиному: Электрон или там Огонек...

Он засмеялся и поглядел на Окошкина по-стариковски, снизу вверх.

— На ком жениться-то? — спросил Васька. — Мне они все нравятся. Выбрать очень трудно.

— Да, это трудно, — сказал Лапшин. — Я вон так выбирал-выбирал, да и провыбирался.

Они помолчали, потом сыграли в шахматы. Было часов семь вечера. После шахмат Лапшин побрился перед зеркалом, фырча вытер лицо одеколоном и надел шинель.

— В управление? — спросил Васька.

— В управление, — сказал Лапшин.

Вошла Патрикеевна и спросила, нельзя ли посадить в тюрьму одну знакомую врачуху за то, что та назвала домработницу свиньей.

— Нельзя, — сказал Васька. — Уйди, Патрикеевна, ты мне действуешь на нервы!

Патрикеевна ушла, постукивая деревянной ногой. Васька тоже надел шинель, надушил одеколоном Лапшина свой носовой платок и, бешено стрельнув озорными глазами в зеркало, сказал, что готов.

На улице крупными, легкими хлопьями падал снег. Васька подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и сообщил, что хочет мороженого.

— А еще что? — спросил Лапшин.

Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что проходим приятно на них глядеть.

— Надо жениться, — вдруг задумчиво сказал Лапшин. — Пора, Васька...

И Окошкин не понял, про кого говорил Лапшин: про самого себя или про него.

Когда Ваську принимали в партию, Лапшин выступил с большой речью, и Окошкину стало не по себе, до того подробно и точно Лапшин рассказал о нем.

Поздно ночью они вместе возвращались домой, и Лапшин, попыхивая папироской, назидательно говорил:

— Я тогда в первой бригаде работал. Вызвали меня на двойное самоубийство. И что бы ты думал? Женщина и мужчина, уже не очень молодые, отравились. Какая-то у них там любовь была, в высшей степени сильная...

— Ну и что? — спросил Васька.

Лапшин молчал.

— Вы к чему это? — спросил Васька. — Чтобы я тоже тово?

— Глупый ты, Васька, человек! — с неудовольствием сказал Лапшин. — Дурак ты!

Ужиная картофельным салатом и ложась спать, Лапшин молчал, и Васька слышал, как он долго и печально вздыхал и как трещали и щелкали пружины матраца под его грузным телом, когда он ворочался.

3

Потом наступило лето, и Лапшин один, без Васьки, уехал отдыхать.

Санаторий был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом берегу над морем. День и ночь бились в берег волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, что это вовсе не волны, а далекая канонада, что там идет война, а он, Лапшин, просто поправляется в тылу, в лазарете, и вот уже скоро совсем поправится и тогда поедет на фронт к своим товарищам.

И оттого, что он был не в лазарете и не испытывал никаких страданий, и оттого, что пушки не пали-

ли и ему не надо было ехать на фронт, ему было и покойно, и весело, и немного досадно.

«Баринот живу, — думал он о себе, — жирный стал гусак, цветную капустку ем...»

Он очень подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу молчали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе уплывали на час или на два в море. Летчик был лет на семь младше Лапшина и очень боялся людей, боялся потому, что люди часто его узнавали и устраивали ему овации. Тогда он розовел и говорил сдавленным голосом:

— Это ужасно, это ужасно...

И если они шли вместе с Лапшиным, то Лапшин тоже розовел и говорил:

— Да, сложное положение!

Иногда по вечерам летчик надевал летную форму, а Лапшин — милицейскую, они садились в автобус и ехали в город, оба выбритые, свежие, загорелые, молчаливые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, изредка переговариваясь, пили кисленькое вино, ели маслины.

Как-то поздним вечером, когда они играли у себя на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем, испытывал мучительное чувство неопределенной тоски. Он курил, шел купаться, долго бродил по горам, уставал — тоска не исчезала. Однажды, проснувшись среди черной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокры, и понял, что плакал во сне. Он встал, зажег свет, скрутил папироску и сидел на кровати с зажженной спичкой в пальцах, пока она не догорела и не обожгла руку. Было стыдно, он даже попробовал побранить себя и подумать, что разжирел

и обленился, но из этого ничего не вышло. Он вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны и как кричит в кустах птица.

Утром с Бобкой — сыном летчика — он пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось шесть лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была каштановая челка, и с этой челкой он напоминал девочку. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними говорить, и так как слышал, что с ними надо держаться как со взрослыми, то был с Бобкой суровее, чем следовало.

Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и посыпанной гравием, и Лапшин говорил Бобке про войну. У Бобки были новые сандалии, полученные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка очень часто как бы вылетал ногами вперед, и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил его на дорожку и советовал:

— Держись за воздух!

Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не глядел на дорогу. Он был некрасив лицом — весь в отца: такие же веснушки, и такой же картофелиной нос, и такая же форма головы, но глаза у него были чудесные, материнские, с мягким блеском и с постоянным внимательно-удивленным выражением. И рот был тоже материнский — большой и лукавый.

— Вот, брат, Борис Антонович, — говорил Лапшин, сжимая в своей ладони горячее Бобкино запястье, — виды у них на нас какие? Виды такие: они хотят ударить по Балтийской зоне. Ты знаешь, что такое зона?

— Зона — знаю, — сказал Бобка, — а Балтийская — не знаю.

Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.

— Фашисты? — спросил Бобка.

— Ну да! Эта часть границы, — говорил Лапшин, — составляет около пятисот пятидесяти километров. Здесь проходит путь на Ленинград, в этом и есть стратегическое значение удара сюда.

— Погодите-ка! — сказал Бобка. — У меня камень в сандаля попал.

— Ну вынь! — сказал Лапшин.

Бобка сел на дорожку, снял сандалии с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапшин смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.

Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:

— Ну, кидайся!

— Зачем же вы меня раздели? — спросил Бобка. — Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.

— А мы маме и не скажем! — басом сказал Лапшин. — Ладно, хлопче?

И он слегка порозовел, оттого что сказал «хлопче» и «мы» и оттого что сам почувствовал, как лжива вся фраза.

Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно соскучился, завял и сказал Бобке, что пора домой.

Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лап-

шин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.

Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в санатории. У него был казенный костюм — белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком — тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.

— Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.

— Нет, — сказал Лапшин, — знакомые уезжают.

— Бобочку будете провожать? — поощрительно сказал Лекаренко и вынес Лапшину на блюде костного мозга, соли и хлеба.

— Покушайте пока что до чаю, — сказал он. — Дюже можете заголодать!

Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой орешника. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним здесь, среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и усы он подстриг коротко, как в городе. «Надо работать, — думал он, — надо уезжать и дело делать!»

Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, шестой час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, а посидел внизу на каменных ступеньках.

Сверху, на втором этаже, раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел Женю — мать Бобки. Она тоже

заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин вдруг обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу.

— Что это вы ни свет ни заря? — говорила она, пожимая его руку. — Это только мой муж в три часа на полеты на свои подскакивает как заведенный...

Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и развалившиеся оттого, что, зевнув, она тряхнула головой.

Лапшин молчал.

— Вот мы и уезжаем, — сказала она, глядя на море. — Пора.

— И я скоро, — сказал Лапшин.

Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве.

— Надо вещи складывать, — сказала Женя, — а мой мужик спит, и жалко его будить.

— Давайте я вам помогу, — предложил Лапшин. — Пусть спит!

Они пошли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груды вещей, взятых из ящика, чемодан, портплед и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, потряхнул его и стал выбирать из кучи вещей, сваленной на пол, на газеты, только мужские вещи — белье, носки, фуфайки, брюки, причем белья и одежды Жени он старался не касаться.

От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя похвалила его работу и сказала, что так укладывают только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи.

СОДЕРЖАНИЕ

Лапшин	5
Жмакин	157
Наш друг — Иван Бодунов. <i>Повесть-быль</i>	385